

Сомов Орест

Почтовый дом в Шато-Тьерри

Орест Михайлович Сомов

Почтовый дом в Шато-Тьерри

Из рассказов путешественника

Дорожная моя коляска изломалась, по милости почтальона, которому обещано было лишнее на водку. Подъезжая к Шато-Тьерри, этот проворный и говорливый француз вообразил себе, что здесь-то ему и надобно было отличиться: захлопал бичом, погнал лошадей; а между тем поминутно оглядывался ко мне в коляску и рассказывал мне о достопамятностях городка Шато-Тьерри, о том, что он был родиной Лафонтеня (de se bon Mr. de La Fontaine), о числе его жителей, о торговле хлебом и мельничными жерновами и пр. и пр. В таких рассказах он без оглядки взлетел на маленький мостик, зацепился колесом за каменные перилы - и ось затрещала и переломилась, подобно как в Иполитовой колеснице. Я, впрочем, был счастливее сего мифологического героя и успел вовремя выскочить из коляски; но верный мой Терамен, или просто русский служитель, отлетел в сторону и немного ушибся. Нечего было делать. Я оставил моего Терамена присматривать за поклажей и помогать почтальону кое-как приладить колесо, чтобы довести коляску до Шато-Тьерри; а сам пошел вперед, ибо до городка было уже недалеко.

Я пришел прямо в почтовый дом и просил у содержателя почты позволения остаться тут до прибытия моей коляски. Хозяин, высокий, статный мужчина лет тридцати пяти, с резкими, но довольно приятными чертами лица и огромными бакенбардами, принял меня с холодной вежливостью. На нем были куртка и панталоны из бумажного канифаса с синими, узкими полосками - платье в каком мы нередко видим в Петербурге французских моряков, на купеческих судах; на голове круглая лакированная фуражка, надетая с какою-то воинской щеголеватостью. Он сказал мне, что в доме его нет трактира и комнат для проезжих; но что он просит меня войти в комнаты, занимаемые им и его семейством. Я пошел за ним.

В большой комнате, куда он ввел меня, сидел у стола почтенный старик лет семидесяти и завтракал; молодая, пригожая девушка, в легком утреннем платье и с свежестью в лице и улыбкой ясного майского утра, ему прислуживала. Другая женщина, немногим ее постарее, сидела на тюфяке, разостланном среди пола, и занималась каким-то рукодельем; подле нее играл ребенок, с небольшим году, здоровенький, полненький, прелестный, как ангел. На поклон мой все отвечали поклоном, и молодая женщина, сидевшая на полу, встала. Вообразите себе высокую, стройную красавицу, с тонкими, нежными чертами лица отменно белого, с тонким, нежным румянцем в щеках, с большими голубыми глазами! Фиолетовая кофта, ловко застегнутая поверх зеленой юбки, прекрасно обрисовывала легкий, воздушный стан красавицы; на голове цветной кисейный платок, повязанный a la Creole, был ей совершенно к лицу, которого оттенял он белизну и придавал какой-то блеск белокурым локонам, струившимся из-под сей наколки и падавшим вокруг шеи. Этот утренний головной убор молодой француженки всегда мне нравился своею незатейливою миловидностью; но здесь я еще более почувствовал ему цену. Я остановился в безмолвном удивлении перед молодой женщиной, как бы очарованный сладостным выражением и тихим огнем этик больших голубых глаз. Из этого минутного забвения был я выведен голосом введшего меня хозяина, который в отрывистых словах знакомил меня с членами своего семейства. "Это отец

мой, - сказал он, - это сестра, а это жена и сын мой".

Мне показалось, что все они с какою-то недоверчивостию смотрели на меня. И в самом деле, человек, пришедший пешком и объявляющий о своем изломанном, может быть небывалом экипаже, мог поселить некоторое подозрение на большой столичной дороге, где, конечно, подобные явления нередки и где бродяги, выдавая себя за порядочных путешественников, не раз, конечно, старались воспользоваться доверчивостию хозяев, хотя по крайней мере для того, чтобы пообедать на чужой счет или выпросить лошадь и кабриолет до следующей станции, с твердою решимостью найти способ не заплатить за них. Мысль о таком подозрении была мне досадна. Без всякой нужды в звонкой монете, я спросил у хозяина, где мог бы я разменять банковый билет на золото? и он отвечал мне, что охотно сам услужит мне этим. Я вынул из кармана мой бумажник, развернул, как бы нечаянно, лежавший в нем паспорт мой, засвидетельствованный российским посольством в Париже; засим начал > медленно перебирать несколько банковых билетов в пятьсот и тысячу франков, подал один из них хозяину и просил его сделать мне обещанное одолжение. Он бегло взглянул на билет, удостоверился в его подлинности и передал его сестре своей, сказав: "Милая Леония, потрудись отсчитать этому господину двадцатифранковых монет, на пятьсот ливров". - Девушка вышла в другую комнату, а я остался с молчаливыми моими хозяевами. От нечего делать я начал играть с прелестным ребенком прелестной хозяйки. Дитя охотно приняло мои ласки, улыбалось мне и само заигрывало со мной, бросаясь ко мне на руки и поднимая вверх красивую свою головку с выражением ангельской приветливости. Мать его умильно смотрела на нашу игру и заметно радовалась тому, что чужой, незнакомый человек любовался ее малюткой и находил удовольствие в детских его резвостях. Старый дедушка и даже сам отец малютки, показавшийся мне почти нелюдимом, веселее взглянули на меня, и легкое облако сомнения, подернувшее лица сего семейства при моем вступлении в дом, скоро совсем исчезло; все уже смотрели на меня ясным взором доброжелательства.

Ничто не располагает столько в пользу человека незнакомого, как его ласковость и внимание к маленьким детям,

Люди всегда склонны иметь доброе мнение о том, кто находит удовольствие в невинных играх детства, всегда готовы в нем признавать чистую совесть и мир души; но всегда ли безошибочно - не знаю и не хочу исследовать; ибо сие почти всеобщее, доброе предубеждение льстило на этот раз моему самолюбию.

Я сказал не помню какое приветствие молодой женщине; она покраснелась; что-то непонятное для меня выразилось в ее взоре, который она вдруг отвела от меня и обратила на своего мужа, как будто бы о чем-то его умоляя. Мне показалось это странным. Первая мысль, родившаяся в голове моей, была та, что этот муж был ревнивый тиран своей прелестной жены; что, может быть, из безумной ревности и меня он принял так неприветливо. Отгадал ли он эту мысль по глазам моим, или, может быть, из побуждения более чистого, но он поспешил разрешить мои сомнения.

- Не примите за неучтивость молчание жены моей или не припишите его недостатку воспитания либо ума, - сказал он голосом, выразившим какое-то чувство нежного сострадания. - Жена моя лишена дара слова: она глухонемая.

- Право? - вскричал я по невольному движению удивления.

- Так точно, сударь! Она только языком знаков передает те ощущения, которые, может быть, действуют на нее еще сильнее, нежели на нас, владеющих языком звуков, те чувствования, для которых всегда раскрыта прекрасная душа ее, наконец, те мысли, коими столь богато ее безмолвное созерцание.

Признаюсь, я покушался уже дать волю врожденному моему любопытству и под благовидным

предлогом самого искреннего соучастия выведать приключения жизни сей занимательной четы; уже я наскоро соображал мои планы нападения на чувствительную сторону души моего хозяина... Но сперва приход сестры его, заставившей меня пересчитать 25 наполеондоров, а потом приезд моей коляски, толки с кузнецами и пр. отвлекли меня на полчаса от сих планов и желаний. Наконец, я условился с ремесленником, взявшимся починить мою коляску; ее отвезли к кузнице, и она могла быт> готова не ближе вечера, следовательно, до той поры мне не было возможности выехать из Шато-Тьерри. Но как оставаться долее в доме содержателя почты, который сам объявил мне, что не содержит гостиницы? Притом же, надобно обедать, а для этого в каждом французском городке есть порядочные трактиры. Это разрушало все мои планы; ч сколько я ни ломал себе голову, не мог ничего придумать. К счастью, сам хозяин одним словом разорвал сей гордиев узел. Когда я оставался среди двора еще в нерешимости и раздумьи, он подошел ко мне и сказал: "Семейство мое посылает меня к вам парламентаром. Все мы убедительно просим вас не отказать нам в одном одолжении: отобедать сегодня с нами. Вы, конечно, найдете у нас нероскошный стол сельских жителей; но вам как путешественнику, верно, не раз случалось обедать чем бог послал (a la fortune de pot). Мы просим вас наперед, сударь, принять нашу искренность и радушие взамен пышного угощения".

Я отвечал поклоном; хотел прибавить к тому оговорку, не буду ли я в тягость этому доброму, любезному семейству, но хозяин дома не дал мне договорить ее и продолжал: "Жена моя хочет с вами познакомиться покороче, поговорить с вами... Да, сударь, поговорить! Если вам незнаком разговор на пальцах, изобретенный для глухонемых незабвенными нашими аббатами де л'ЭпJ и Сикаром, то аспидная доска и грифель к вашим услугам".

Здесь уж я не находил более или, лучше сказать, не имел духу найти какую-либо оговорку. Я поблагодарил доброго моего хозяина за сей знак внимания и за гостеприимство, столь редко встречаемое на больших дорогах.

- Гостеприимство наше, - отвечал он, - может быть, показалось вам сомнительным с первого приема; но вы привязали нас к себе ласками нашему маленькому сыну и потому имеете полное право на мою откровенность. Жена моя всегда страдает, когда видит кого-либо из посторонних, особливо человека незнакомого, когда видит, что с нею начинают говорить, - и не может отвечать изустно! Ей так огорчительно возбуждать к себе сожаление! ибо, находясь в кругу одного нашего семейства, она почитает себя совершенно счастливою и позабывает о том жестоком лишении, на которое природа или случай ее осудили. Посему-то мы редко принимаем у себя посторонних людей, и знакомство наше в городе ограничивается небольшим числом коротких приятелей. Но вы в несколько минут совершенно приобрели дружеское расположение к себе жены моей. От нее не ускользнуло то искреннее, Душевное удовольствие, с каким вы забавляли нашего малютку: ибо эти существа, лишенные способности слышать речи других и сообщать свои мысли живым голосом, глухонемые, одарены взамен того отменною способностью читать в душе человека по выражению лица и глаз его. Так и жена моя прочла из вашей добродушной улыбки, из выражавшегося в глазах ваших чувства нежности, что удовольствие ваше было непритворно. Ее понятия о свете и людях, несмотря на многие горькие опыты, сохраняют еще всю чистоту души невинной: она верит добру и сим гораздо счастливее многих из нас, говорящих.

Голос сего доброго человека, твердый и отчасти отрывистый в обыкновенном разговоре, смягчался и принимал какое-то особенное выражение нежности, когда он говорил о жене своей. По всему видно было, что он любил ее страстно; и этим он еще более приковывал к себе мое душевное расположение и - признаюсь - еще более поджигал мое любопытство.

Мы вошли снова в комнату; и хозяин подвел меня к жене своей. Я не мог без умиления смотреть на это милое, прелестное существо, которое еще больше привлекало меня с тех пор, как я узнал причину его вечной, неотразимой молчаливости. Хозяин подал мне небольшую аспидную доску с грифелем, и я написал: "Вы, верно, счастливы вашим

положением: супруг ваш обожает вас, родные любят нежно; вы мать прелестного дитяти".

Я подал доску глухонемой красавице; она бегло взглянула на нее и мигом написала мне ответ: "Вы правы. Если есть на земле счастье, то я вполне им наслаждаюсь. С тех пор, как я принадлежу моему другу, каждый день являет мне нить приятнейших мечтаний, и эти же мечтания каждую ночь веселят меня в сновидениях".

Я написал ей новый вопрос: "И конечно, вы никогда не жалеете о том, что не можете слышать?" - "О, как не жалеть! - был ответ ее. - У меня отнята возможность слышать голос милого моего друга и детский лепет моего сына". "Зато сколько ничтожных речей, сколько злых речей вы не слышите", - возразил я. "Это правда, - отвечала она. - Но мой слух теперь - одно воображение; и мне кажется, что в голосе человеческого есть такая сладость, что я охотно бы простила все прочее, лишь бы что-нибудь услышать".

На лице ее отразилось какое-то печальное ощущение, когда она писала сии слова. Я счел за лучшее прекратить на время сей тягостный для чувствительности ее разговор; и потому, положив в сторону ответ ее, сказал ее мужу: "Супруга ваша выражается весьма свободно и правописание наблюдает в совершенстве..."

- Это не должно вас удивлять, - подхватил он.- Глухонемые всегда бывают отличными орфографами. Они не могут себе вообразить, чтоб мысль была правильно выражена, когда в словах не соблюдено правописание во всей строгости. По большей части они даже краснописцы, ибо думают, что для понятности мысли должно изображать ее на письме четкими и красивыми знаками.

- По всему видно, что супруга ваша воспитывалась в Парижском училище глухонемых, под надзором почтенного аббата Сикара?

- О, нет! мы сами воспитывали ее у себя в доме, и для того жила у нас одна питомица Парижского училища, окончившая курс. Недавно мы выдали ее в замужество за одного порядочного человека, живущего в здешнем городе. Жена моя каждый день с нею видится.

- Так поэтому супруга ваша с малолетства выросла в вашем доме?

- Нет; я привез ее с собою из Германии, когда кончилась последняя наша война с целою почти Европой... Вижу, что я моими ответами только более возбуждаю ваше любопытство, любопытство весьма естественное и даже законное, по новости предметов, которые редко могут встретиться... Чтобы отвечать разом на все вопросы, к которым они могли бы подать повод, я охотно расскажу вам ту часть происшествий моей жизни, которая касается собственно до знакомства моего с Вильгельминой и женитьбы моей. Мы обедаем поздно. До того времени не угодно ли вам прогуляться со мною в нашем саду; там я расскажу вам мою повесть.

Само по себе разумеется, что я от этого не отказался. Мы пошли в сад, и там, посадив меня на скамью в беседке из виноградных лоз и сев подле меня, хозяин мой рассказал мне следующее.

- Кажется, лишнее было бы вам рассказывать, что я родился в здешнем городе и в этом доме. Отец мой, которого вы видели, дед мой и прадед были содержателями почтового дома, и может быть, я никогда бы не изведаль другого состояния жизни, если бы сильные политические наши потрясения и следовавшее за тем правление Наполеона не преобратили порядка многих вещей, не говоря уже о незаметном существовании человека частного.

Я воспитывался в одном из Парижских училищ, когда наступила моя очередь по конскрипции идти в военную службу. Я был один сын у моих родителей; отец мой печалился, мать умерла с тоски скоро по вступлении моем в ряды воинов.

О службе моей скажу вам только, что я был в ней довольно счастлив. Два или три дела, в которых удалось мне отличиться, доставили мне скоро офицерский чин и орден почетного Легиона. С этим уже готовым запасом для будущих успехов отправился я в поход 1812 года.

Когда счастье развелось с военною славой Наполеона, то есть когда мы ушли из России и беспрестанно почти отступали по Германии, мне случилось тогда стоять в одной небольшой деревушке близ Люцена. Я был уже капитаном. Квартира отведена мне была в доме мельника, на выезде из селения и несколько поодаль от прочего жилья; всякий день я ходил к нашему полковнику, жившему на другом конце селения; и всякий день видел под окном одного опрятного домика прекрасную белокурую девушку лет пятнадцати, с большими голубыми глазами, с умильным, простодушным взором. Я всегда кланялся этой молодой красавице, и она с улыбкой мне откланивалась. Не зная почти ни слова по-немецки, я не мог говорить с нею, и знакомство наше ограничивалось одними поклонами. Однажды шел я поздно вечером от полковника; было очень темно; я переходил покое пространство, лежавшее между селением и моей квартирой. Вдруг послышался в стороне дикий, пронзительный крик, почти не похожий на голос человеческий. Я бросился в ту сторону и при помощи потайного фонаря, который всегда носил я по ночам, увидел двух солдат нашего полка, тащивших какую-то женщину. Вы знаете, сударь, что при Наполеоне французские солдаты многое себе позволяли в военное время, особливо в отношении к мирным жителям занимаемых, ими мест в чужих государствах, и что офицеры должны были отчасти смотреть на это сквозь пальцы; но я всегда старался удерживать наших солдат от подобных беспорядков, особливо от грубых поступков с женщинами. Так и в этот раз я подошел с обнаженною саблей к двум нашим повесам и говорил им, что изрублю их, если они не отпустят бедную, испуганную женщину. Негодяи покинули ее и убежали, а я навел фонарик на женщину, которая стояла передо мной, сложа руки и потупя глаза в землю, и дрожала всеми членами. Я подошел к ней поближе; она взглянула на меня... Вообразите себе мое удивление и радость! Это была та милая девушка, с которой я каждый день менялся поклонами. Я хотел ободрить ее, заговорил с нею, ломал кое-как слова на немецкий лад; но она, казалось, ничего не понимала, хотя из умильных ее взглядов и заметно было, что она желала б изъявить мне свою благодарность за ее избавление от этих грубиянов. Я приписывал ее молчание страху; подав ей руку, я повел ее на мою квартиру, и она пошла со мною без всякой недоверчивости. Мы вошли в комнату, и там, разглядев мое лицо и узнав меня, девушка бросилась целовать мою руку; я снова начал с нею говорить, но она отвечала мне только голосом без слов и указывала на свои уши и рот, давая тем знать, что она глуха и нема. Я ласкал ее, играл с ее прекрасными светло-русыми кудрями, и она доверчиво, как дитя, прислонила голову к груди моей. В эту минуту никакая порочная мысль не кружила мне голову; чистота души этой милой девушки, ее невинные ласки доставляли мне такое же тихое наслаждение, независимое от всякого постороннего чувства, какое вам, сударь, как мне кажется, доставляли игры и ласки нашего дитяти. Наконец я вышел из этого самозабвения; спрашивал знаками у безмолвной моей собеседницы, куда ее отвести, и она указала на селение; но вместе с сим выражением лица и движениями тела изъясняла страх, чтобы солдаты снова на нее не напали. Я позвал находившегося при мне солдата, велел ему взять ружье и фонарь, сам взял пару заряженных пистолетов, и мы вдвоем провели девушку до самых дверей того дома, у окон которого я видал ее. Она поблагодарила меня поклоном и дружеским пожатием руки, простилась со мною посланным издали поцелуем и как птичка порхнула в калитку.

Возвратясь домой, я лег в постель, но долго не мог заснуть. Образ белокурой красавицы, ее умильный взор, милая простота и необыкновенная приятность всех ее приемов долго не выходили у меня из головы. Даже эта странность ее положения, этот жалкий природный недостаток имели какую-то особенную для меня привлекательность. Тогда только я начал понимать, отчего голос ее был странен и резок. Вообще глухонемые, не слышав от рождения звуков разговора человеческого и не умея управлять голосом, издают дикие звуки, когда кричат. Поверите ли, сударь? даже эти самые дикие звуки на тот раз как-то особенно мне

нравились! Наконец, утомленный бродившими во мне мыслями я заснул; но и в сонных мечтах беспрестанно являлся мне образ милой белокурой девушки: она, казалось, как ангел-хранитель стояла у моего изголовья, с улыбкой невинности колыхала надо мною ветку белых лилей и насылала мне отрадные, сладкие сны.

Проснувшись на другой день поутру, я оделся и ранее обыкновенного пошел к полковнику. Мысль моя была та, чтобы зайти в дом милой девушки и узнать, каково она провела ночь. Меня встретила дряхлая старушка почтенного вида, говорившая изрядно по-французски. Это была вдова одного пастора в Люцене, переселившаяся в деревушку по смерти своего мужа и жившая отчасти своими трудами, отчасти доходом с небольшого участка земли, ею купленного. Я спросил ее о молодой девушке. "Как, вы ее знаете?" - спросила старушка. Я пересказал ей случай, познакомивший меня накануне с этим прелестным существом. "Да, я сама виновата, - сказала пасторша. - Я послала ее вчерась вечером отыскивать забредшую куда-то нашу корову; бедное дитя не хотело, видно, возвратиться прежде, чем найдет ее, и от того запоздало. Эти сорванцы, конечно, давно уже подстерегали мою Вильгельмину и, быв рады случаю, схватили ее... Она что-то мне толковала об этом знаками; но я не все могла понять, а на беду мою Вильгельмина не учена грамоте".

- Она дочь ваша? - спросил я.

- Нет; покойный муж мой, возвращаясь однажды вечером в город, увидел на дороге осьмилетнюю девочку, в слезах. Это была Вильгельмина. Он начал ее расспрашивать, но девочка ничего не говорила и отвечала только знаками. Тогда муж мой догадался, что она глухонемая. Он привез ее в дом наш. Хотя на ней было платье маленькой поселянки, но по виду и приемам ее заметно было, что она рождена в другом звании. Муж мой несколько раз объявлял о ней в газетах; но никто не сыскивался для взятия обратно бедной малютки, и мы начали догадываться, что она с умыслом была оставлена какими-нибудь злонравными родственниками. Теперь она сирота в мире, подумали мы, и решились заступить ей место отца и матери, тем охотнее, что у нас не было своих детей. Муж мой принялся было обучать ее, но скоро скончался. По смерти его я была в непрерывном горе и хлопотах, пока наконец сбилась с силами купить этот домик и клочок земли близ здешней деревушки. Быв принуждена беспрестанно заниматься работой и тем доставать себе пропитание, не могла я продолжать начатого моим мужем; но взамен того выучила Вильгельмину (так мы ее назвали) разным рукодельям и работам, необходимым в домашнем хозяйстве. Вот уже пять лет, как я живу с нею в здешней деревушке, и всякий день благодарю бога, что он послал мне эту милую, добрую дочь. Вы не поверите, как она заботлива о том, чтоб угождать мне и предупреждать всякое мое желание; как она добра, тиха, понятлива и послушна. Вот и теперь, несмотря на вчерашний свой страх, она ранехонько побежала отыскивать мою корову... Да вот и она! - вскричала радостно старушка, посмотрев в окно. - Вот и корову отыскала, гонит ее во двор!

Погодя немного Вильгельмина вбежала в комнату с веселым лицом. Увидя постороннего человека, в офицерском мундире, она приостановилась и немного смешалась; но взглянув на меня пристальнее, она вскрикнула от радости, бросилась ко мне и, схватя мою руку, хотела снова целовать ее. Я не допустил ее до этого. Она всячески старалась выразить мне свою благодарность и между тем посматривала на свою нареченную мать, как будто бы выведывая, не будет ли она тем недовольна. Старушка кротким своим видом и ласковою улыбкой одобряла это чувство благодарности.

Я спросил у пасторши, есть ли у нее в доме военный постой.

- К счастью, нет, - отвечала она, - добрые здешние обыватели, уважая память покойного моего мужа и зная мою бедность, приняли в свои дома всех солдат, которым отведена была у меня квартира. Иначе я была бы в беспрестанном страхе за Вильгельмину, которую люблю я больше своей жизни. Но все нынешнее мое положение ненадежно: могут прийти новые

отряды ваших солдат, или, что еще ужаснее, необузданные преследователи Вильгельмины могут сюда ворваться ночью.

- Знаете ли, что мы сделаем? - сказал я.- У вас есть лишняя комната; я найму ее и переселюсь к вам, тогда, по крайней мере до тех пор, пока мы здесь останемся, никто не может к вам ни ворваться, ни дать нового постояльца.

Старушка призадумалась на минуту; потом сказала:

- Вчерашний ваш поступок заставляет меня верить, что намерения ваши чисты и что у вас нет никаких предосудительных видов на мою Вильгельмину. Переезжайте к нам и будьте ее защитником. За наем вам не нужно будет платить. Вы уже заплатили за него покровительством беззащитной моей дочери.

- О, нет, - отвечал я доброй старушке, - я не хочу быть вам в тягость; притом же я более, нежели вы, может быть, думаете, в состоянии заплатить за квартиру. - Сказав это, я высыпал на стол несколько золотых монет, в которых на тот раз не было у меня недостатка, благодаря предусмотрительности доброго моего отца. Много труда мне стоило убедить старушку принять эти деньги в виде найма за квартиру. Наконец дело было слажено, и я в тот же день перебрался в дом ее со всею легкою походною поклажей молодого офицера.

С этого времени я всякий день по несколько раз видался с Вильгельминой. Каждое утро она сама приносила мне завтрак и невинными своими ласками и простодушною своею доверенностию более и более привязывала меня к себе. Я привык наконец думать, что она необходима для моего счастья. Сколько раз, сидя с нею наедине и забываясь в сладостной неге сей безмолвной, но красноречивой мены взаимных чувствований, я имел случай оценить, в какой высокой степени врожденное тонкое чувство приличия господствовало в душе сего ангельского существа, несмотря на то, что понятия его о свете и предметах внешних заключены были в весьма тесном кругу. Мы научились уже друг друга понимать и разговаривали знаками; и чем более вникал я в душу Вильгельмины, тем более мне казалось, что она одна только достойна была назваться моею женою; что для меня одного она хранила бы свое сердце как святилище, недоступное для всякого другого. Сие сердце, сей чистейший сосуд чистейших чувствований, для меня одного было бы открыто: я один пробуждал бы в нем сладостнейшие биения, дотоле ему неведомые, я один читал бы его тайны, несообщимые никому, кроме меня.

В таких мечтах провел я несколько счастливых дней. Я позабыл и военное время, и шаткость тогдашнего нашего положения... Не дивитесь тому: мне было тогда двадцать семь лет. Между тем товарищи мои поговаривали о большом сражении, которое будто бы назначалось; но где? еще не знали. Наконец, наш полк получил повеление выступить и идти вперед. В короткое время мы собрались к походу; я едва успел проститься с Вильгельминой и доброю ее воспитательницей.

Вам, конечно, памятны тогдашние происшествия, и в числе их достопамятное Люценское дело. На тех равнинах, где за 180 лет Густав Адольф кровью своею запечатлел ревность свою к новому учению веры, мы отстаивали последние оплоты воинской нашей славы и плоды двадцатилетних побед.

В пылу битвы я думал уже только о Франции, о чести нашего оружия. Пуля прекратила на тот раз мои патриотические порывы. Я помню только, что, получа сильный удар в правый бок, я едва удержался на седле и опустил повод. Лошадь моя дрогнула, понесла меня за фронт; долго я держался еще за ее гриву; наконец, истекши кровью, лишился памяти... Что после со мною было, не знаю; но когда я опамятовался, то почувствовал, что лежу у кого-то на коленях. Я с усилием открыл глаза, взглянул мутным взором - и увидел Вильгельмину. Она обрадовалась, вскрикнула и, наклонясь ко мне, поцеловала меня в лицо. Ненадолго была ее

радость: я снова погрузился в прежнее беспамятство. Очнувшись в другой раз, я видел, что лежал уже на постеле, в той комнате, которую нанимал у старой пасторши. Вильгельмина сидела у моего изголовья и плакала. Около меня суетился низенький плотный человечек в черном платье. Это был лекарь из Люцена, перевязавший мне рану и старавшийся сохранить мне жизнь своими лекарствами.

После уже, когда Вильгельмина стала моею женою и когда ей даны были средства изъяснять мысли свои на письме, узнал я от нее, каким чудным образом она спасла меня. Когда наш полк ушел из селения, Вильгельмина тосковала обо мне. Не в состоянии быв вынести разлуки со мною, она отправилась на другой же день искать меня. Долго бродила она по окрестностям, забывая страх и голод; наконец случай или, справедливее сказать, сам промысел привел ее на ужасное место сражения. Вильгельмина и теперь еще вздрагивает, вспоминая тот ужас, с которым она увидела груды обезображенных, безжизненных трупов, тогда еще не разобранных и не погребенных. Преодолев свой страх и отвращение, она заглядывала в лица тех убитых и раненых, на которых видела мундир нашего полка. Наконец, по долгом и напрасном искании, увидя зоркими своими глазами приближавшуюся толпу живых людей, вероятно, посланных разбирать трупы, она ушла с сего кровавого поля и, ослабев от усталости, томимая голодом и жаждой, хотела отдохнуть в тени кустарника, который видела в некотором отдалении. Подходя к тому месту, она заметила еще одно тело, лежавшее среди поля; приблизилась к нему, взглянула... Это был я! Смертная бледность в лице, бесчувственность и неподвижность всех моих членов и потоки запекшейся вокруг меня крови взволновали все жизненные силы бедной девушки: голова ее закружилась, дрожащие ноги подкосились... она упала подле бездыханного своего друга. Опомнившись, она приподняла меня и оттащила к тому кустарнику, под которым прежде сама хотела искать отдохновения. Там-то я, к радости Вильгельмины, впервые почувствовался, конечно от движения. Новое беспамятствомое повергло ее в новую тоску. Наконец несколько крестьян, прокрадывавшихся неподалеку в разоренные свои жилища, были ею замечены, остановлены и, тронувшись ее слезами и безмолвными просьбами, решились отнести меня до ближнего жилья, откуда после, наняв других носильщиков, Вильгельмина перенесла меня в дом своей нареченной матери. Старушка, опечаленная отсутствием Вильгельмины, считала ее погибшею и во все время тосковала и плакала. Легко вообразить себе ее радость, когда она снова увидела милую свою питомицу. Почтенная сия женщина, видя слезы Вильгельмины и любя меня, по словам ее, как родного сына, тотчас послала в город за лекарем и заботилась о сохранении мне жизни.

Выздоровление мое было медленно. Я был в крайней слабости, и долго лекарь и добрая старушка отчаявались в моей жизни; но скрывали свои опасения от Вильгельмины, страшась, чтоб весть о моем опасном положении не убила чувствительную девушку. К счастью, она с доверием младенца надеялась, и провидение оправдало ее надежду. По какому-то счастливому стечению обстоятельств, союзные войска не проходили чрез ту деревицу, в которой я лежал. В полку моем, как после узнал я, считали меня в числе убитых.

Вильгельмина безотлучно находилась при мне во все продолжение моей болезни. Проснусь ли я ночью - бывало, вижу, что она сидит у моего изголовья, сторожит каждое мое движение, отгадывает каждое желание. В это время в ней нельзя было узнать той живой, цветущей девушки, которой пленительная свежесть и веселый вид привлекали взоры всякого, даже самого равнодушного человека: она сделалась худа, бледна и томна, но все еще была прелестна, и для меня еще прелестнее.

Новое горе поразило ее, когда я начинал уже выздоравливать. Почтенная воспитательница ее, пасторша, которой силы давно уже видимо истощались, наконец занемогла и чрез три дня скончалась. Едва встав на ноги, я шел за гробом доброй сей старушки и проводил ее до места последнего ее успокоения. Вильгельмина едва не пришла в отчаяние. Безмолвная тоска ее и неосушавшиеся потоки слез жгли мне душу. Чтобы рассеять ее печаль, я вздумал учить ее французской грамоте. В тогдашнее военное время нигде не мог я отыскать

превосходных книг, изданных аббатом Сикаром и его питомцами для обучения глухонемых; но нежные старания учителя и природные способности, быстрая понятливость ученицы облегчили труд, с первого взгляда почти непреодолимый. Вильгельмина понимала уже сочетания букв, начертание и даже смысл некоторых слов, хотя медленно, по неумению и неопытности преподавателя. Так мы проводили дни, недели, месяцы, - время, в которое жил я только чистою любовью души и надеждою будущего блаженства. Невинность Вильгельмины и сродное ей девственное чувство стыдливости были для нее лучшею защитой от пылких, молодых лет моих.

По смерти старушки пасторши нашлись у нее родственники, наследники к оставшемуся после нее небогатому имуществу. Я нанял у них дом, в котором мы жили, и нетерпеливо ждал из Франции ответа на мои письма; но при тогдашних военных тревогах письма мои не доходили, и отец мой все еще оплакивал меня, считая убитым.

Русские уже вступили в Париж, когда я совершенно оправился. Не зная, чем кончится судьба моего отечества, я решился ехать наудачу во Францию; но как и на кого оставить Вильгельмину до моего возвращения? или как взять ее с собою в такое смутное время? Я чувствовал, что она не перенесла бы и кратковременной разлуки со мною, знал, что она скорее пустится на все труды и опасности, нежели согласится спокойно ждать меня. Должно было выйти из этого затруднительного, тяжкого для сердца моего положения. По долгом размышлении, остановился я на том, чтоб обвенчаться с Вильгельминой и везти ее с собою. Она поняла мою мысль и склонилась на мое желание. Один добрый пастор согласился обвенчать нас.

Счастье супружеской жизни красноречиво для сердца; но тихие наслаждения его полнее и возвышеннее, когда они вверены безмолвию такого существа, как моя Вильгельмина. Скажу вам просто: я был совершенно счастлив. К довершению моих желаний, в первые дни нашего брака я получил письмо от моего отца, до которого наконец дошло последнее из моих писем и который звал меня к себе в Шато-Тьерри, прибавя, что во Франции все тогда начинало успокаиваться с восстановлением Бурбонов.

Вильгельмина и я пошли впоследствии проститься с могилою второй нашей матери. Юная моя подруга горько плакала, расставаясь навсегда с прахом своей благодетельницы; она взяла немного землицы с могилы и теперь носит ее на груди своей, как нечто священное. Наконец мы простились с мирною деревушкой, свидетельницею первой нашей любви, наших страданий и нашего счастья.

Не могу вам описать восторгов, которые рождала в душе Вильгельмины новость предметов. В молчаливом своем удивлении, подруга моя сообщала мне свою радость только быстрым, пламенным взором, живописным телодвижением и выразительным пожатием руки моей. Природа, как бы в вознаграждение за то чувство, которого не дала ей, с избытком наградила ее внутренним чувством изящного, чувством, оценивающим красоту и совершенство предметов видимых. Простое дитя природы - моя Вильгельмина всеми силами души влечется преимущественнее к красотам сей общей матери. Прелестное местоположение, быстрая река, светлое озеро, тенистая рощица, веселая лужайка, красивый цветок, пригоженькая птичка или бабочка несравненно более радуют ее, нежели пышность городов, великолепие зданий и внутренних украшений, роскошь нарядов и тому подобное.

Остальное в жизни моей, не весьма богатой приключениями, доскажу вам в коротких словах. Отец мой с восторгом встретил нас: сначала ему казался странным мой выбор жены; но скоро, узнав редкие душевные свойства ее и видя дочернюю нежность ее к нему, он примирился с тем, что почитал ее недостатком. Во время службы моей служила ему утешением и опорой преклонных лет его сестра моя, которую вы видели и которая была еще почти дитятей, когда я оставил дом родительский. Аеония с первой минуты нашего приезда подружилась с Вильгельминой, и с тех пор самая тесная, нежнейшая дружба

связывает сии кроткие, добрые существа. Мы ездили в Париж и там, благодаря участию и попечениям добродетельного аббата Сикара, приняли к себе в дом ту воспитанницу Института глухонемых, о которой я прежде вам сказывал. Скоро Вильгельмина моя оказала невероятные успехи в ученьи и теперь имеет столь же ясные понятия о предметах, доступных ей по чувствам или по уму и воображению, как и все люди, слышащие и говорящие.

Мечты честолюбия давно меня оставили; я взял увольнение от службы и поселился здесь навеки. Последовавшие чрез несколько месяцев новые и, к счастью, кратковременные политические тревоги с шумом пронесли мимо нас, не нарушив нашего спокойствия. За полтора года пред сим были мы обрадованы рождением моего сына; и теперь живем по большей части в небольшом семейном кругу нашем, счастливы, довольны, веселы, и благословляем небо за наше счастье.

Повествователь мой умолк и, с довольным видом приняв искреннее мое желание о продолжении над его семейством сего благополучия, дружески взял меня за руку, пожал ее и повел меня в комнаты. Обед наш одушевлялся откровенностью, взаимным доверием и чистосердечною веселостью. Мы долго просидели за столом, хотя не круговая чаша, а доска и грифель переходили из рук в руки. Милая Вильгельмина или давала остроумные ответы, или делала замысловатые вопросы, показывавшие наблюдательный ее ум и быстроту соображения. Когда мы встали из-за стола, коляска моя была уже готова и бич почтальона, громко хлопая по воздуху, вызывал меня в дорогу. Простясь с добрыми моими хозяевами и засев в угол моей коляски, я долго мечтал об этом любезном семействе, о тихом его счастье, особливо же о милой, прелестной Вильгельмине.